



ЗАМУРОВАННАЯ

Антон Абрамов

АНТОН АБРАМОВ

Замурованная

«Автор»

2026

Абрамов А.

Замурованная / А. Абрамов — «Автор», 2026

Англия, 1214 год. Алис отпели как покойницу и замуровали у северной стены церкви. У кельи три окна... щель в алтарь, створка для хлеба и окно для людей, которым больше некому доверить грех. Шестой год папского интердикта. Линдвелл живет без мессы, без церковного суда и даже без освященной земли. Мертвых свозят к общей яме за канавой. Тайны всей деревни остаются лишь у окна Алис. По ночам к ней приходит отец Ансельм... священник, исчезнувший в первую зиму запрета. Он говорит только шепотом. Он просит об одном... подтвердить церковным клеркам, что все эти годы он был жив. Накануне снятия запрета начинают умирать те, кто помнит первую зиму. Алис ведет расследование, не выходя из кельи. Ее улики - хромой шаг в пустой церкви, шов на лоскуте мертвеца и одна ошибка в латинском благословении, всегда в одном и том же месте. Когда она приближается к разгадке, у нее начинают отнимать окна... по одному.

Содержание

ЧАСТЬ I. Пока молчит колокол	5
Глава 1. Три окна	5
Глава 2. Ларец	11
Глава 3. Южная дверь	17
Глава 4. Доброе сукно	22
Глава 5. Земля Мэйбл	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Замурованная

ЧАСТЬ I. Пока молчит колокол

Глава 1. Три окна

Верёвка колокола лежала у Олдреда в сарае уже шестой год. Он снял её в первый месяц запрета: отец Ансельм сам поднялся с ним на башенную лестницу, велел стянуть язык колокола кожаным ремнём и потом долго стоял внизу, пока старик, сопя от высоты, высвобождал толстый пеньковый канат из деревянного колеса. В тот день у южной двери Святой Эдбурги ещё спорили. Женщины требовали впустить к алтарю больных. Мужчины ругали клириков за дела короля, в которых мало кто из них разбирался дальше третьего слова. Дети лезли под локти и тянули шеи: запертая церковь была им в диковину, вроде ярмарочного медведя. Взрослые в тот день ещё уговаривали себя, что беда протянется недели.

Недели прошли, а дверь осталась на запоре. Через месяц-другой к ней стали ходить тише, на второй год у крыльца почти не поднимали голоса. Охрипшая Англия привыкала жить без открытой мессы и без звона. Церковный суд молчал который год. Труднее всего давалось отвыкание от простого: что покойника внесут через ворота и положат среди своих. Кто умел читать церковные письма, звал запрет интердиктом. В Линдвелле говорили короче: церковь закрыта. Дальняя ссора папы с королём входила в деревню без имён — замком на южной двери да телегами у северной канавы.

Сначала мёртвых туда везли с криком. Родня шла рядом с телегой, хваталась за полотно, молила Уота обождать хотя бы день: вдруг из соседнего прихода придёт кто-нибудь с правом на молитву. Потом спорить устали. Летом телега вставала у края ограды, двое спрыгивали в траву, завёрнутое тело съезжало по доске вниз, и люди отворачивались раньше первого удара лопаты. Горе у каждого дома было своё, а место для него сделалось общее и низкое, за кладбищенской стеной, где земля после дождя оседала быстро и уже к зиме никто не взялся бы показать, где чей.

Келья Алис стояла с северной стороны хора, прижатая к церкви так тесно, будто пристройку забыли снабдить дверью. Низкая кровля упиралась в старый камень, под узким карнизом темнели потёки прежней зимы, у основания стены трава росла хуже, чем на открытом дворе. Чужой человек прошёл бы мимо, приняв её за кладовую для церковной утвари. В Линдвелле знали, кто там сидит. Замурованная.

Клирики называли её анкорессой. Слово было трудное, с привкусом книг и устава. Оно означало женщину, которая уходит из мира к церковной стене и живёт при ней ради молитвы — якорь для тех, кого носит страх. Деревня обходилась без латыни: Алис похоронили живой и оставили ей три окна. Такое объяснение выходило грубее истины и держалось в голове крепче. А порог она переступила сама, своими ногами. В день обряда стояла перед кельей под серой тканью, слушала над собой псалмы, какие поют по умершей, и чувствовала под ступнями рыхлую землю заранее вырытой могилы. За спиной ждал каменщик. Раствор замешали ещё с утра, камни лежали горкой. Когда отпели, люди подались назад, и между ней и деревней поднялся первый ряд кладки.

Пока камни шли ниже плеча, она ещё различала голоса. Матильда бранила ребёнка. Хоб кашлял у ограды. Какая-то из женщин заплакала громче положенного, и Уот велел ей отойти — коротко, деловито, как распоряжаются возами на жатве. Ко второму ряду голоса потускнели. К третьему Алис слышала уже одну кладку: камень принимал раствор, кельма счищала

лишнее. Люди дышали в двух шагах, а казались дальше брода. К вечеру двери не стало. Остались отверстия.

Сквинт, тонкая щель, пробитая наискось к хору, смотрел на алтарь. Через него Алис видела край льняного покрова, свечи, движение священнических рук; в годы службы она молилась там глазами, раз телу выхода не полагалось. Ниже, у тропы, сидела в стене хозяйственная створка. В неё подавали хлеб и воду, уголь, свечные огарки, тряпье на починку, изредка яйцо или кусок сыра — когда чья-нибудь благодарность пересиливала кухонную скупость. Третье окно выходило к людям, его закрывала плотная занавесь. За ней говорили. Шли те, кому полагался бы суд, да суда не стало; шли не смевшие сказать при своём доме. А чаще человеку требовалось простое место, где можно назвать умершего по имени и не увидеть в ответ лица соседа.

За шесть лет Алис выучила эти окна лучше собственных рук. Сквинт давал ей церковь, в которую нельзя войти. Через хозяйственную створку жило тело — тем, что подадут. Труднее всего приходилось с окном к людям: деревня являлась к нему частями и уходила належке, а сказанное оставалось внутри, при Алис, на все ночи вперёд. Снаружи верили, что стена бережёт их тайны. Каково с этими тайнами по её сторону кладки, снаружи не думал никто. Да и с чего бы.

В келье было тесно. Постель занимала угол у стены; над ларём висела полка, где лежали молитвенный лист отца Ансельма, игла с суровой ниткой, ножик для хлеба и малые вещи, принесённые с просьбой помолиться. Табурет Алис двигала ногой, переходя от окна к окну, — два шага, больше ходу не было. Посреди пола доски темнели: под ними ждала яма. В день заключения ей объяснили, что могила вырыта для памяти о смерти, но страх всё равно поселился тогда в каждой доске. С годами объяснение стёрлось, страх выдохся. Осталось ровное знание: под досками есть место, и оно её дожждётся.

Кошка с рваным ухом спала, привалившись боком к ларю. Её принёс Ансельм в первый год затвора, ещё до своего исчезновения: поставил корзину у хозяйственной створки и сухо заметил, что мыши, судя по всему, с уставом для затворниц не знакомы. Алис тогда рассмеялась, впервые за много недель. Стена вернула смех слишком близко, точно в келье сидела вторая женщина и смеялась вместе с ней. С тех пор она смеялась осторожнее.

К вечеру Линдвелл возвращался с лугов. Сквозь хозяйственную сторону слышалась верхняя дорога: скрип тележного колеса, чья-то перебранка у колодца, стук калиток по нижним дворам. Звуки шли вразнобой, как скотина с выпаса. Алис сидела у створки и чинила обтрепавшийся край рукава, когда снаружи стукнули ложкой по дереву.

— Сестра, это я.

Эдита всегда стучала так, словно объявляла себя целому монастырю. В щель вошла корзина, за ней кружка, которую девушка едва удержала. Рука у Эдиты была быстрая, тонкая в кости, с зелёной нитью на запястье. Такие нитки она вязала искуснее, чем читала молитвы: два оборота, спрятанный конец, узел, которому нипочём даже стирка котлов. Через три дня узел всё равно куда-то девался, и на его месте сидел новый.

— Буханка лучше вчерашней, — прошептала она. — Я взяла ту, где горелого края меньше. Если Матильда спросит, буханка сама подалась мне в руки.

— Буханки редко проявляют такую решимость.

— На кухне всё живёт своей волей, стоит Матильде отвернуться.

Алис приняла хлеб, провела пальцем по корке и отломил уголок для кошки. Та поднялась, подошла без спешки и взяла своё с таким видом, будто это церковное право, записанное ещё при дедах.

— Сыра не дали? — уточнила Алис.

— Мельничиха обещала, если её мальчик доживёт до утра без жара. Я бы и сама стащила, да сыр у нас стерегут лучше господских грамот.

— Как зовут мальчика?

— Перкин. Мать зовёт его Перри, когда пугается. Просила три псалма и, если можно, положить его крестик к вашим вещам до вечера.

— Принесёт крестик — положу.

Эдита задержала корзину в щели и руку не убрала.

— Говори.

— Едут люди архидьякона. С верхней дороги передали: через три дня, если у брода обойдётся. С ними клерк. Гервасий вроде бы. Олдред это имя признал. Говорит, отец Ансельм когда-то спорил с ним из-за десятины и остался недоволен. Стало быть, грамотный.

Имя подняло со дна давний вечер. Ансельм за столом у Хью, листы, разложенные возле чаши, раздражение в голосе: клерк из Шрусбери задаёт вопросы не к месту, а ответы помнит лучше тех, кто их давал. Алис слушала тогда вполуха. Мужчины у двери говорили про пошрины и старые права. У неё в то утро пригорала каша, и она думала про кашу.

— Уот знает?

— Уже велел вымыть хор, достать старый лён и проверить сундук. Осма бежит от амбара к церкви. Матильда пересчитывает тряпки и злится, что их мало, а виновата почему-то я.

— Про северную яму говорили?

Эдита оглянулась.

— Уот велел молчать. Кто перед приезжими заведёт о костях за канавой, тому припомнят недоимки. Он это у амбара сказал, вполголоса, а слышно было до кухни.

Голоса он не поднимал. Ключи от всего, что в Линдвелле запиралось, висели у него, а рядом всегда стоял Осма с дубинкой.

Ходил Уот тяжело, левая нога после старого перелома запаздывала, и железный край башмака задевал плиту у церковной тропы. Прошлой весной мальчишки трясли яблоню у ограды. Алис услышала, как они кинулись врассыпную, и только потом разобрала сам звук. Яблоки там кислые, их всё равно рвут каждый год.

— Тебя у амбара заметили?

— Меня замечают, когда нужны руки. А так я мелкая, под столом не видно.

— Крошки тоже сметают.

— Я хорошо прячусь.

Алис не успела ответить: у окна к людям стало шумно. Мужской голос требовал пустить его к святой, двое других удерживали крикуна за плечи. Сквозь злость шёл эль, а под элем стояла свежая, ещё не обмятая утрата. Эдита сморщилась.

— Тибб. С утра пьёт. Брата его нашли у нижней дороги.

Алис прикрыла хозяйственную створку и перешла к занавешенному окну. За тканью тяжело дышали. В нижнюю щель был виден сапог в луговой грязи, рядом торчал конец посоха, которым кто-то отгораживал Тибба от стены.

— Святая мать! — крикнул он. — Пусть она ответит! Брат мой крещённый был. Косил, платил, к церкви ходил, пока пускали. С какой правдой ему в канаву?

— Назови его.

— Сим. Дома Сим. Перед Богом Симеон. Ему место у церкви.

— Я помолюсь за Симеона.

— Молитвы мало. Ты риву вели, чтоб яму не копал.

Соседи уговаривали Тибба отойти. Он рванулся, плечо глухо ударило в стену возле решётки. Кошка вскочила, распушив хвост.

По плите у северной тропы прошёл знакомый зацеп. Голоса у окна разом сели. Уот подошёл не торопясь и стал чуть поодаль, на том расстоянии, какого требовало приличие.

— Тибб.

Имя было сказано негромко. Хватило.

— Он мне брат.

— До вечера тело полежит в сарае. К ночи положим за канавой. Велят клерки иначе — выкопаете.

— Выкопаете? Ты себя слышишь?

— Слышу, как ты бьёшь в стену сестры Алис. Сломаешь решётку — завтра сам и почи- нишь.

— Мне что теперь, решётка дороже брата?

— Брату твой кулак уже не поможет.

Тибб всхлипнул, начал ругательство и не закончил: его уводили к ограде. Уот выждал, пока шаги отойдут, и повернулся к занавеси.

— Простите шум, сестра. Перед церковными людьми деревня делается хуже самой себя.

— Деревня боится имён.

— Имя тянет за собой землю, долг, вдову, сироту и старый спор. Клерк запишет строку и уедет. Нам жить с тем, что эта строка поднимет.

— Симеона впишете с именем.

— Впишу. Симеон, брат Тибба, косарь с нижнего луга.

Повторить он не попросил. Что касалось земли, труда и повинностей, Уот запоминал с одного раза; за такую память рива в деревне ценили и по той же причине обходили стороной.

— Гервасий попросит церковный сундук, — произнесла Алис.

— Сундук будет готов.

— Ключ у вас?

— У меня всё, что приход передал на сохранение.

За годы запрета к Уоту перешло на сохранение многое: ключи, долговые палочки, чьи- то спорные листы. Заодно перешло и право решать, чьи слова похожи на правду. Ответ вышел безупречный. Тем и был плох.

Уот ушёл к южной стороне. Железный край стукнул о плиту, потом шаги перешли на траву.

Эдита ждала у хозяйственной створки. Увидев Алис, просунула пустую ладонь.

— Кружку забыла.

— Матильда тебя съест.

— Подавится. Кости у меня острые.

Алис вернула кружку. Эдита взяла её, но не ушла.

— Уот сегодня долго стоял против южной двери. Осма спросил, отпирать ли к уборке, а рив велел ждать, пока в хоре стемнеет, но снаружи ещё будет видно. Зачем так?

— Затем, чтобы ты меньше спрашивала и быстрее шла на кухню.

— Когда вы так отвечаете, вы сами о том же думаете.

— На кухню.

Эдита ушла, мурлыча срамную песню про мельникову дочь. У поворота песня оборва- лась: похоже, Матильда нашла её без дела.

Стемнело. Алис доела хлеб, отпила эля и подошла к сквинту. За щелью лежал тёмный хор. В годы службы она заставляла там Ансельма в положенные часы; теперь часы шли, а чело- века не было. Ночами хор жил сам по себе: то осыпалась крошка штукатурки, то по алтарной ступени пробегала мышь. Раз или два ночной воздух приносил скрип южной двери — той самой, которую, по словам Уота, держали на замке.

Она достала из ларя молитвенный лист. Ансельм написал его вскоре после затвора: несколько строк на те ночи, когда стену становилось трудно переносить. Чернила выцвели, внизу держался восковой знак с агнцем. Алис тронула пальцем край печати и вспомнила свя- щенника, каким он был до запрета. Сухой лоб, короткие наставления; складка у рта делалась нетерпеливой, стоило кому-нибудь назвать грех несчастьем и попроситься на мягкий ответ. Ласковым он не был. Оттого ночной шёпот и царапал её сильнее, чем следовало бы: за месяцы

тайных приходов Ансельм у окна становился мягче того Ансельма, которого она знала при алтаре. Она находила этому причины — изгнание, опасность, голод, мало ли что. Причины находились легко. Очень уж хотелось, чтобы страдание улучшало тех, кто дорог.

После исчезновения Ансельма деревня носила к её окну разные дороги. Ушёл к братьям в обитель, говорили одни. Прячется у валлийцев, наверняка знали другие. Бабы у колодца держались того, что церковные люди зовут его назад; Хоб бурчал про добрых людей, которые берегут священника, рискуя головой. Слухи сменялись, но каждый обтекал одно и то же пустое место: никто не помнил ни дня ухода, ни хлеба, собранного на дорогу, и никто не видел, чтобы Ансельма провожали до брода. Алис старалась в эту прореху не смотреть.

Первый ночной шёпот случился зимой, в пору, когда хозяйственная створка примерзала к раме и Эдита обдирала пальцы, проталкивая хлеб. Два лёгких касания по доске. Голос назвал её дочерью. До рассвета Алис просидела с псалмом у дальней стены. Назавтра шёпот вернулся. На третью ночь он вспомнил про боль в её левом запястье — старое падение у колодца. Ансельм про то падение знал. Знали, если подумать, и другие; только сердце выбирает довод, с которым можно дожить до утра.

Теперь она сидела у окна к людям и ждала, ненавидя себя за это ожидание. Дворы стихали. У мельницы коротко взлаяла собака. Вдоль кладбищенской ограды прошёл кто-то лёгким шагом, не Уот. Потом тропа замолчала совсем.

Два касания прошли по наружной доске.

Алис не двинулась. Второй знак пришёл спустя время, какого хватило бы на короткую молитву. Тогда она придвинулась к решётке, оставив руки на коленях.

— Дочь.

Шёпот шёл сквозь ткань без полной высоты голоса, и по нему нельзя было угадать ни возраста, ни лица. Оставались осторожное дыхание и привычное слово. Такой голос достраиваешь сам; память Алис год за годом подставляла в него Ансельма.

— Отец.

— Сегодня у стены был шум.

— Симеон умер.

— Я слышал.

— От кого?

За занавесью помолчали. Ткань чуть тронула решётку.

— В Линдвелле смерть проходит через многие двери.

Имён ответ не называл, но произнесён был так, словно имел на это право.

— Едут люди архидьякона.

— Знаю.

— Они спросят о вас.

— Ты скажешь правду.

— Какую?

— Что я приходил. Что в годы запрета ты слышала меня. Что я служил, сколько позволяли ночь и опасность.

Алис опустила взгляд. Ночной гость уже готовил ей слова наперёд; её словам перед людьми с перьями заранее назначалось место в чужом порядке.

— Почему вы сами к ним не выйдете?

— Имена тех, кто укрывал меня, умрут раньше моего оправдания. Добрый клерк умеет записать просьбу. Людей лорда он от ворот не удержит.

Бумага в этих краях приходила позже конного человека. Алис знала это не из книг: у её окна стояли вдовы и должники, стояли матери пропавших сыновей.

— Я устала от тайных слов.

— Тайна сберегла не одну душу.

Так ответил бы священник, который прячется среди врагов. Или человек, которому нужна темнота.

— Благословите меня.

В нижнюю щель вошла рука: два пальца, тёплая кожа, короткая тень ногтя. Алис наклонилась. У основания пальцев прощупывалось утолщение, какое оставляет тяжёлая работа. Прежнюю руку Ансельма она знала хуже, чем хотела бы. Длинные пальцы у чаши, чернильный след сбоку ногтя, повязка после того, как он резанул себя ножом для пергамента. Ночная рука была грубее. Ответ поднялся сам, раньше вопроса: годы укрытия меняют тело, священник в бегах берётся за любую работу.

Она коснулась губами пальцев.

Шёпот повёл формулу. Латынь шла тихо, срезанная тканью. В одном месте окончание опять царапнуло слух. В листе, писанном рукой Ансельма, стояло другое слово, и Алис знала какое. Она дала неверному пройти.

— Амен.

Рука ушла.

— Когда явятся клерки, берегись расспросов Уота и Осмы. Они захотят взять тебя страхом. Говори только то, что слышала.

— Я слышала вас.

— Этого довольно.

Он пошёл прочь. У первой плиты железный край башмака дал короткий зацеп. Дальше шаги сошли на траву и пропали у северной канавы.

Алис осталась у занавеси. За стеной было темно, створка заперта до утра. Она все продолжала держать пальцы у губ, словно на коже ещё оставалось благословение, и беззвучно, раз за разом, повторяла латинскую формулу — правильно, так, как стояло в листе, — пока чужая ошибка не сделалась тише её собственной молитвы.

Глава 2. Ларец

Ларец открывался туго. Дерево разбухало каждую зиму, усыхало к лету, и маленький железный ключик, который Алис носила на шнурке под платьем, всякий раз требовал терпения. Она вставила его в замок до первого света, когда деревня за стеной только начинала шевелиться, а в келье ещё держалась ночная прохлада. После ночного гостя — если это был Ансельм, если у священника в бегах рука могла так огрубеть — спать она уже не смогла. Про то слово в латинской формуле она старалась пока не думать. Не выходило. Верное слово с ночи так и стояло на языке, будто его там оставили нарочно.

Кошка сидела на крышке и не хотела уступать место. Алис сняла её двумя ладонями, получила сердитый взгляд и положила на доски вчерашнюю корку. Пока кошка хрустела хлебом, Алис повернула ключ. Замок щёлкнул, крышка поднялась на толщину пальца и застряла; пришлось поддеть край ножиком, стараясь не сломать старую петлю.

В доме Хью такой ларец годился бы под гребень да свадебную ленту, ну и пару монет на крайний случай. В келье он стал хранилищем просьб, которые люди боялись оставлять при себе. Вещи сюда попадали без торговой цены: оловянный крестик больного мальчика; пуговица — её женщина на сносках оторвала от рукава прямо у окна; однажды подали даже обломок счётной палочки, назвав его молитвенной памятью, и Алис не стала спорить. Принимала она через окно, хотя правило велело затворнице держать руки в стороне от мирских тяжб. Правило годилось для спокойного дома при церкви. В Линдвелле за годы запрета мир сам просовывал свои тяжбы в щели стены, и отказать значило вернуть человеку тяжесть, которую он уже не унёс бы один.

Сверху лежал молитвенный лист Ансельма. Алис оставила его сложенным; край воска с агнцем был ей знакомее многих живых голосов. Под листом копились мелочи, уже потерявшие хозяев: синий лоскут женщины, умершей в родах; детский шнурок с узлом. Отдельно лежал кусочек воска, на котором мальчик нацарапал первую букву своего имени — букву он выучил, до второй не дожил. Внутри стены цена была другая. Снаружи такое бросили бы в золу.

На самом дне лежал тёмный лоскут.

Алис достала его осторожно, хотя ткань давно потеряла прежнюю форму. Сукно было добротное, плотное, лучше крестьянской одежды, с малой починкой у края. Шов держался крепко: нитка входила под сгиб и выходила наружу коротким стежком. Когда лоскут принесли, она ещё путала посетителей у окна по голосам и дыханию. Шла первая зима запрета. Холод стоял слепой, за стеной кашляли, створка примерзала намертво, и просьбы приходили в келью вместе с хлебом — голодные просьбы, других той зимой не носили. Двое мужчин остановились тогда у окна к людям. Один кашлял так, что слова рвались. Другой повторял: у дороги нашли мертвеца, при нём ни суммы, ни знака, имени никто не знает; у церкви хоронить нельзя, а спускать христианина в землю без молитвы страшно. Кашлявшим был Хоб. Имя его Алис узнала позже, когда он приходил просить за женину горячку и долго мял шапку у занавеси.

В ту ночь он просунул лоскут в щель и попросил держать его возле молитвы, пока у безымянного нет имени. Алис решила тогда, что старик напуган ямой, куда сам помогал опускать тела. Он бормотал про хорошее сукно, про руку мертвеца; ткани такой, повторял он, бедняки не носят. Второй носильщик цыкнул на него и увёл от стены. С тех пор лоскут лежал в ларце шесть лет. В дни общих молитв за тех, чьи имена потерялись у северной канавы, Алис иногда доставала его, потом снова прятала на дно.

Теперь под большим пальцем шов ощущался отчётливее прежнего.

Она поднесла ткань к хозяйственному окну. Ставня была ещё закрыта; свет шёл тонкой щелью у дерева, и в этом просвете лоскут терял цвет. Алис закрыла глаза и стала читать ткань руками. Край оторван резко. Стежок короткий, узлы спрятаны внутрь — так шила Ависа, ста-

рая женщина, что стирала алтарный лён; она бранила всякого, кто оставлял работу на виду. В одном месте нитка всё же выступала бугорком, словно швею торопили сумерки. Ависа умерла во вторую зиму запрета. Дочь её жила на верхнем хуторе. Джоанна. Имя всплыло вместе с картинкой: молодая женщина у церковной двери держит лучину, пока мать чинит одежду священника. Послать бы на верхний хутор, спросить Джоанну про материну работу той зимы. Только послать было некого: Эдиту в такую ходьбу впутывать нельзя, а больше её поручений никто не носил.

В хозяйственную ставню постучали.

— Сестра? Откройте, пока Матильда считает котлы.

Эдита говорила тихо, но торопливость выдавала её лучше громкого стука. Алис сложила лоскут и оставила на коленях.

— Ты рано.

— Я бы раньше пришла, если бы кухонная женщина не заставила чистить горшок после вчерашнего отвара. Она уверяет, что бобы сами к стенкам не пристают, и смотрит на меня так, будто я лично уговариваю их держаться.

Алис отодвинула засов. В отверстие вошла кружка с водой, хлеб и маленький свёрток. Свёрток Эдита сунула первым, с той осторожностью, какая появлялась у неё при запретной новости.

— От мельничихи. Перкин ночью спал, жар к рассвету отпустил. Она принесла сыр и крестик, велела передать вам. Сыр для вас. Крестик к ларцу до вечера.

— Передай ей, что я молилась.

— Она сама придёт благодарить, если мальчик удержится без жара. Только сейчас у всех другое на языке.

Алис подняла кружку, но пить не стала.

— Хоб?

— С ночи нет. Агнес пошла к Уоту, а тот велел искать у брода. У брода! Хоб туда ходил, когда ноги его ещё слушались. Теперь он до мельницы с передышкой шёл.

— Где его видели в последний раз?

Эдита опустила голос.

— У старой ямы. Мальчишки заметили. Сидел на краю, ковырял землю палкой и гнал их прочь. Тома слышал, как он говорил про первую зиму. Мать Тома уже отвесила ему затрещину, потому что ребёнок повторил при соседях.

— Какие слова?

— Что тот мертвец был слишком хорошо одет. И про руку. Тома не понял, про какую. Хоб говорил: рука была белая там, где сняли кольцо. Мальчишка мог перепутать. Дети любят добавить.

Алис посмотрела на лоскут в своих руках. Ансельм иногда надевал печатку, когда случалось запечатать письмо, хотя чаще держал её на шнуре. Светлая кожа под кольцом остаётся у тех, кого солнце застаёт за работой. Она погладила шов и велела себе не бежать впереди слов чужого мальчишки.

— Кто ещё слышал?

— Осма теперь слушает тех, кто слушал. Уот поставил его у северной канавы и велел детей туда не пускать. Агнес держат дома под присмотром. Она кричала, что Хоб не мог уйти к броду без плаща.

— Плащ дома?

— На крюке у двери. Фляга, говорят, тоже дома. Только Уот уже велел повторять: старик ушёл к воде, старик пил, старик сам искал беду.

Эдита выговорила это со злостью и не прятала её от Алис. В девчонке всё звучало раньше, чем успевало пройти через осторожность.

- Ты ничего не спрашивай у Осмы.
- Я его и видеть не хочу.
- Захочешь, когда новость покажется важнее страха.
- Эдита сердито зашуршала корзиной.
- Вы сами хотите знать.

— Я хочу, чтобы ты дожидла до приезда Гервасия.

Девушка замолчала. За стеной кто-то прошёл по тропе; Эдита отодвинулась от отверстия. Шаг был женский, с тяжёлым ведром. Когда он ушёл к кухне, она придвинулась снова.

- Если Агнес придёт к окну, я скажу ей ждать сумерек. Днём Уот увидит.
- Не назначай ей пути.
- Тогда как она пройдёт?
- Сама решит, где меньше опасности.
- Взрослые всегда говорят «сама решит», когда боятся подсказать.
- Подсказка иногда приводит человека к тому, кто её ждёт.

Эдита хотела возразить, но с кухни её окликнули. Она сунула в щель оловянный крестик Перкина и захлопнула ставню, забыв забрать пустую кружку. Крестик был кривой, с пузырьком металла на перекладине. Алис положила его на крышку ларца, рядом с тёмным лоскутом, и посидела так, глядя на обе вещи. Объяснять друг друга они не желали.

Снаружи разгорался день. Без колокола Линдвелл всё равно знал время. Стучала кухня; люди тянулись к лугам; возле канавы орали гуси. К середине дня детей переставали гонять и начинали бранить — по этому в деревне сверяли обед вернее всякой тени. К окну к людям пришла мельничиха. Благодарила за Перкина, обещала сыр каждый день до воскресенья, если Господь удержит жар, и попросила подержать крестик до заката.

- Когда церковь откроют, его надо будет принести к алтарю? — спросила она.
- Если мальчик поправится, принесёшь сама.
- А если снова станет хуже?
- Тогда пришлешь за тем, кто приедет с архидьяконом.

Мельничиха вздохнула.

— Мы столько лет посылаем за теми, кто должен приехать, что дорога над нами, поди, смеётся.

Алис молчала. Человек у окна часто ждал возможности произнести собственный страх так, чтобы тот вышел из груди и немного постоял снаружи. Мельничиха потёрла край занавеси между пальцами.

- Вы слышали про Хоба?
- Слышала.

— Мой муж говорит, он вчера сидел у ямы до темноты. Не пил. Просто сидел. Это страшнее пьянства: пьяный поёт или ругается, а Хоб молчал и держал палку, как крест. Мальчишки его дразнили, он поднял на них глаза — и они разбежались. Тома теперь уверяет, что старик знал имя мертвеца.

— Какое?

— Этого Тома уже не говорит. Мать заперла его в кладовой, а Уот велел держать язык при себе. Моему Перкину жар отпустил, сестра, а мне всё равно боязно. Когда в деревне начинают затыкать детей, взрослым тоже лучше держать дверь на засове.

Она ушла, забрав от решётки пустой край передника. Алис осталась с крестиком. Перкин к вечеру получит свою вещь обратно, если мать осмелится прийти. Лоскут безымянного за шесть лет не спросил никто. Живые возвращались за крестиками и пуговицами; про эту ткань живым было спокойнее не помнить.

Ближе к полудню у северной тропы прозвучал зацеп обуви. Кошка подняла голову раньше, чем Алис разобрала шаг. Уот остановился у окна к людям. Приход его обходился без

знака: дневной власти условный стук ни к чему. Это ночной шёпот стучал с показной осторожностью.

— Сестра Алис.

— Я слушаю.

— Агнес может прийти к вам. Если начнёт говорить о муже, удержите её от безумных обвинений.

— Хоб найден?

— Пока нет.

— Тогда отчего Агнес должна говорить о нём как о мёртвом?

Уот ответил не сразу. Пауза не походила на смущение: он взвешивал, сколько можно дать.

— Женщины часто хоронят мужа в голове раньше, чем его принесут к дому. Особенно если муж пил и шёл туда, куда ему велели не ходить.

— Ему велели не ходить к яме?

— Всем велели.

— После того как он там сидел?

Уот сдвинул посох. Дерево коснулось плиты.

— Яма осыпается. Ребёнок может погибнуть. Старик мог погибнуть. Я отвечаю за порядок до приезда церковных людей.

— Агнес говорит, плащ остался дома.

— Пьяный не выбирает дорогу по погоде.

— Фляга тоже дома.

— Значит, пил до выхода.

Ответы ложились быстро, один к другому, как камни в подготовленное место. Алис держала ладонь на лоскуте, спрятанном в складке платья.

— Вы хотите, чтобы она не подходила к моему окну?

— Я хочу удержать страх от домов за день до клерков. Хоб много лет носил дурную совесть из-за той зимы. Такие люди под старость говорят что угодно, лишь бы облегчить грудь.

— Что он носил из той зимы?

Уот приблизился на шаг. Ткань между ними слабо шевельнулась.

— Вы храните в ларце многие вещи. Не всякая тряпка от мертвеца делает мертвеца святым.

Алис не двинулась. Про ткань она не сказала ему ни слова — к ларцу он пришёл сам.

— Вы знаете, что Хоб принёс мне ткань?

— Половина Линдвелла несёт вам ткань, крестики, пуговицы, гнилые палочки, всякую дрянь, которую дома держать страшно. Вы не обязаны помнить каждую.

— А вы помните.

Уот помолчал.

— Я помню то, что может поднять смуту.

За оградой прошла женщина с вязанкой хвороста. Уот отступил от занавеси, возвращая разговору дневной вид.

— Если Агнес придёт, примите имя мужа и молитву. Остальное пусть оставит людям, у которых есть право спрашивать.

— У кого есть право спрашивать?

— Приедет ГERVасий — спросит. Я отвечу за дорогу, яму и сундук.

Он ушёл. Знакомый зацеп прозвучал у первой плиты, потом шаги стихли к южной двери. Алис долго сидела у окна, придерживая лоскут в складке платья. Уот знал о ткани. Мог знать из болтовни Хоба после той зимы. А мог видеть сам, как носильщик отрывает кусок от одежды безымянного. Разница выходила огромная, только молчание пока было на обе одно.

День тянулся тяжело. Эдита больше не приходила: на кухне, надо думать, держали её при работе. К окну шли мелкие просьбы. У старухи болел бок; мальчика прислала мать; мужчина с луга уверял, что серп его спрятал из зависти сосед. Кто-то, не показавшись, оставил у решётки яйцо в тряпиче — за кого молиться, не сказал. Разговоры выходили короткие, и уходили люди с облегчением: за их страхами старая яма не стояла.

Под вечер вернулась мельничиха за крестиком Перкина. Мальчик ел, жар не поднимался. Она забрала кривой оловянный знак, поцеловала и спрятала в пазуху.

— Если Агнес придёт ночью, я проведу её через наш двор, — сказала она. — Мельник спрашивать не станет, если я велю ему смотреть в другую сторону.

— Не води её через воду.

— Знаю. Эдита тоже той стороной не ходит после детской беды. Все знают.

Алис кивнула за занавесью.

— Пусть Агнес решит сама.

— Она уже решила. Её удерживают.

Мельничиха ушла. Скоро с дороги донёсся крик — женский, высокий, с оборванным концом. Алис поднялась у окна, но крик не повторился. У северной канавы началось движение: мужские голоса, окрик Осмы, стук палки о доску, а может, о ворота. До кельи слова доходили кусками. Нашли шапку. Детей не пускать. Уот велел держать людей у дороги.

Хоба не назвали найденным. Этого уже хватало для страха.

В сумерках Эдита всё же подбежала к хозяйственной створке. Дышала сбито, посмеивалась от страха и никак не могла начать.

— Его шапка у ямы. И палка. Осма забрал обе. Агнес вырвалась из дома, Уот велел отвести её назад. Она кричала: без шапки Хоб к броду не пошёл бы, а без плаща и до мельницы не дошёл бы. Осма твердил, что шапку старик мог потерять раньше. Агнес плюнула ему под ноги.

— Тела нет?

— Говорят, нет.

— А ты что видела?

— Видела, как Осма нёс что-то в мешке. Небольшое. Может, шапка и палка. Может, ткань. Я не подошла.

— Хорошо.

Эдита удивилась.

— Вы впервые хвалите меня за то, что я не подошла.

— Запомни это чувство.

— Оно мне не нравится.

Алис позволила себе слабую улыбку. Девушка улыбки за щелью не видела, но услышала её в голосе.

— Ступай к кухне и мешай там всем.

— Я умею.

— Да.

Эдита задержалась.

— Сестра, а тот лоскут у вас? Тот, про который Хоб когда-то говорил?

Алис ответила не сразу. За служебным окном темнело, и под стеной мог стоять кто угодно.

— У меня много лоскутов.

— Я поняла.

Она закрыла ставню. Через стену Алис ещё слышала, как Эдита отходит, ругаясь на курицу под ногами; потом девушку окликнула Матильда, и голос Эдиты сделался послушным.

Ночь пришла без шёпота у большого окна. Алис ждала его дольше, чем хотела себе признаться. Сидела у занавеси с лоскутом в ладони и слушала деревню: у дома Хоба плакала Агнес, у северной канавы вполголоса перекликались мужчины. Возле южной двери один раз прозвучал ключ, хотя створка, кажется, так и осталась закрытой. Может, проверяли замок. Может, нет. Пальцам было чем заняться: узел шнурка, край лоскута, снова узел. Кошка спала у ларя и во сне перебирала лапами.

Алис разложила лоскут на коленях. Доброе сукно. Старая аккуратная починка. Рука, с которой сняли кольцо. Хоб у ямы, Уот у окна, шапка у северной канавы. В правду, которую можно произнести вслух, это пока не складывалось. Но и простым страхом старика быть перестало.

Она провела пальцем по шву. В темноте ткань не имела цвета — только рубец под пальцем, крепкий, аккуратный. Упрямый. Шов женщины, давно лежавшей за канавой, держался крепче, чем слова живых.

За стеной Агнес снова выкрикнула имя мужа. Никто не ответил ей сразу. Алис сжала лоскут в ладони и начала молитву за Хоба как за живого. Сердце уже подбирало слова для мёртвого.

Глава 3. Южная дверь

Южную дверь открыли среди белого дня. Алис услышала ключ раньше, чем поняла, откуда идёт звук. В церкви давно привыкли к закрытому дереву, к замку, который служил больше памяти, чем делу, к тишине за сквинтом, где в прежние годы двигались свечи и человеческие руки. Теперь железо повернулось в накладке, створка коротко скрипнула, и пустой неф принял шаги.

Она отложила иглу. Нитка осталась висеть из края рукава, маленькая серая петля на тусклой ткани. Кошка подняла голову у ларя, раскрыла один глаз и снова закрыла: дневные звуки церкви её интересовали меньше мышиного хода под досками. Алис подошла к сквинту и склонилась к щели.

В хор вошёл Осма с прутьяной метлой. Он держал её через плечо, как копьё, и почесал затылок, прежде чем взяться за работу. За ним появился Уот. На поясе у него висел большой ключ от южной двери; он не спрятал его сразу, дал свету лечь на железо, затем убрал связку под край туники. Левая нога запаздывала, железная полоса на обуви время от времени задевала плиту. Этот звук не был громким, но в запертой церкви любая малая вещь становилась слышнее самой себя.

Уот остановился у входа в хор и огляделся. Не крестился. Не склонил головы перед алтарём. Он пришёл сюда по делу, и церковь в этот час была для него помещением, которое требуется подготовить к приезду людей с перьями и правом спрашивать. Осма начал мести пол у южной стороны, поднимая сухую пыль. Алис почувствовала её во рту через сквинт и отодвинулась, но глаз от щели не отвела.

— Сначала у двери, — распорядился Уот. — Следы сапог клерки заметят раньше молитв.

Осма провёл метлой по полу с нарочитой силой.

— Клерки везде видят грязь, кроме своей дороги.

— Молчи и мети.

Уот направился к сундуку у северной стороны хора. Сундук стоял там ещё при Ансельме: тяжёлый, тёмный, с железными полосами и крышкой, которая поднималась лишь после долгого сопротивления петель. В нём держали церковные вещи, старые листы, шнуры с печатями, счётные палочки, доверенные когда-то священнику как человеку, чья память находилась между господским двором и деревней. После закрытия церкви сундук редко открывали при людях. Ключи, как многое другое, оказались у Уота «для сохранности».

Рив опустил перед замком. Двигался он без спешки; человек, за которым наблюдают, часто торопится либо чрезмерно медлит. Уот делал так, чтобы всякое движение выглядело уместным. Замок поддался, крышка пошла вверх. Сухой звук петель достиг кельи, и у Алис отозвалась память: отец Ансельм у этого сундука, рукав, зацепившийся за железо, его раздражение, старая Ависа, которая позднее ворчала из-за прорехи.

Осма перестал мести и подался ближе.

— Там и палочки лежат?

— Те, что касаются церкви.

— Мэйблова тоже?

Уот повернул голову. Осма сразу вернулся к метле, но вопрос уже прошёл через хор и вошёл в келью. Мэйбл ещё не приходила к окну в эти дни, однако её история жила в деревне годами: муж умер, сын ушёл на дальнюю сторону, дом перешёл к новому мужу, земля сменила руки, а кто спрашивал о старом праве, тому советовали дожидаться суда. Суд не приходил.

— Тебя палочки не касаются, — произнёс Уот. — Если хочешь держать в голове чужие зарубки, сперва научись считать свои долги.

Осма засмеялся, но смех вышел коротким.

Уот вынул из сундука связку пергаментов. Восковой оттиск ударился о дерево, когда шнур соскользнул к краю. Алис не могла рассмотреть знак, но видела, как рив удержал печать пальцем, чтобы та больше не стучала. Он раскрыл один лист, долго смотрел, губы его двигались без звука. Затем достал другой, меньший, сложенный вчетверо. Тот он держал ближе к груди, закрывая от Осмы плечом.

— Этот в дом? — спросил Осма.

— Этот останется там, где лежал.

— Лорд спросит.

— Лорд спросит меня. Тебя спросит метла, если снова встанешь.

Осма с силой ударил прутьями по полу. Пыль поднялась светлым облаком, и Алис закашлялась в локоть. Уот, вероятно, услышал; он посмотрел в сторону сквинта. Щель была слишком узкой, чтобы встретиться глазами, но Алис всё равно отступила на шаг. Сердце билось быстро, и от этого злило собственное тело. Она находилась в келье по обету, за стеной, за решётками, под словом церкви, и всё же стояла в тени, как девчонка, пойманная у чужой двери.

Крышка сундука опустилась с тяжёлым стуком. Уот проверил замок, убрал ключи, велел Осме вынести сор к южной стороне, где его сожгут до приезда клерков. Перед выходом рив снова прошёл у алтарной ступени. Левая нога задержалась у той же плиты, железо задело край. Алис невольно сосчитала промежуток между шагами.

Когда южная дверь закрылась, в хоре ещё долго держался запах пыли и потревоженного дерева. Алис вернулась к скамье, но шить уже не смогла. Нитка путалась, игла дважды вошла мимо края, и она убрала работу на полку.

Хозяйственная створка открылась ближе к полудню. Эдита явилась с миской отвара и куском хлеба, завернутым в грубую тряпицу. На лбу у неё была полоска сажи; видимо, кухонная женщина заставила её снимать котёл с очага.

— Видели? — прошептала она, не успев поставить миску.

— Уота в церкви?

— Значит, видели. Он открыл сундук при Осме. Матильда уверяет, что всё по приказу клерков, хотя клерки ещё только едут и ничего приказать не успели.

— Кто держал ключи до запрета?

— Отец Ансельм, один. Второй ключ был у старого ризничего, но тот умер во вторую зиму. После смерти его жена отдала связку Уоту, потому что рив пришёл с людьми лорда и сказал: церковное добро нельзя оставлять при вдове. Вдова потом плакала, что отдала больше, чем должна. Только что с плача? Ключ уже у пояса.

— У Ансельма мог остаться свой ключ?

Эдита задумалась. Она любила отвечать быстро; задумавшись, становилась серьёзнее и старше.

— Если был, его искали. После его ухода дом священника смотрели. Уот тогда говорил, что надо защитить церковное имущество от королевских людей. Осма выносил оттуда ящики, книги и мешок с одеждой.

— Ты это видела?

— Мне было меньше лет, но корзину я уже носила. Помню мешок, потому что из него торчал край белой ткани. Матильда велела не глазеть.

Алис приняла миску. Гороховый отвар был жидкий, на поверхности плавала зелень, которую на кухне добавляли ради вида. Есть не хотелось.

— Что с Хобом?

Эдита сглотнула. Здесь быстрые ответы у неё тоже кончались.

— Не нашли. У ямы стоят Осма и ещё двое. Шапку держат у Уота. Агнес хотела выйти к вам, её посадили в доме с соседкой. Соседка Уоту родня через жениного брата, так что сторож верный.

— Агнес знает про лоскут?

— Думаю, да. Хоб ведь дома языком молот, когда пил. Но она не дура, держала при себе. До вчерашнего.

— Кто говорит, что он ушёл к броду?

— Уже все, кто боится Уота.

Эдита сказала это и прикусила губу. Слова вышли слишком прямыми, даже для служебной щели.

— Ты тоже боишься?

— Конечно. Только я ещё злюсь, а злость мешает бояться с пользой.

Алис поставила миску на доску.

— Злость мешает жить дольше.

— Старые живут долго, а что толку?

— Спроси Олдреда, когда верёвку снова повесят.

Эдита фыркнула. Смех вышел слабым, но всё же вернул ей лицо живой девушки, а не носительницы новостей.

— Уот спрашивал сегодня, не передавала ли Агнес что-нибудь к вашему окну. Я была возле курятника, слышала от Матильды. Матильда ответила, что у окна была только я.

— Правду ответила.

— Пока да.

— Не ходи к Агнес.

Эдита посмотрела в щель так пристально, как могла смотреть только она, не видя лица Алис целиком.

— Если не я, кто узнает?

— Узнает тот, кому опасность уже принадлежит. Ты пока стоишь с краю.

— С краю тоже сталкивают.

Ответ был детский и точный. Алис не нашла для него мягкого возражения.

— Сегодня держись кухни. Слушай, если говорят рядом. Сама не спрашивай.

— Вы это говорите так, словно вопросы всегда начинаются с языка. Иногда достаточно пройти мимо.

— Тогда проходи мимо медленнее.

Эдита взяла пустую кружку и ушла. Через несколько мгновений вернулась рука: девушка забыла забрать тряпицу от хлеба. Она вытянула её из щели и уже с дороги прошептала:

— Если Агнес всё же выйдет, я стукну дважды.

Ставня закрылась.

День прошёл в мелких голосах. У окна к людям останавливались те, кто приносил просьбы, не связанные с Хобом: женщина с больным боком, мальчик за мать, старик, потерявший мерку соли и уверенный, что её взял сосед. Алис слушала, отвечала, молилась коротко, поскольку мысли возвращались к южной двери. Когда человек внутри стены узнаёт мир через отверстия, любой новый путь становится раной. Южная дверь была не её окном, но именно через неё в закрытую церковь вошёл Уот и открыл сундук.

К вечеру пришёл сам рив.

Он остановился у занавешенного окна, как утром, на расстоянии, где голос проходил ясно, а приличия сохранялись.

— Хоб мог уйти к броду, — произнёс он. — Если Агнес станет приходить сюда и будить слухи, удержите её.

— Вы говорили это уже.

— За день слухи успели вырасти.

— У Хоба дома остался плащ.

— Плащ нужен тем, кто собирается в дорогу. Старик, если испугался, мог идти без всякого сбора.

— Чего он испугался?

— Собственной памяти.

Алис положила ладонь на край решётки.

— Память не гонит человека к броду без фляги и шапки.

— Память гонит сильнее палки, если человек всю жизнь носил в себе дурной поступок.

— Какой поступок носил Хоб?

Уот приблизился на шаг. Алис услышала кожу его пояса, слабое движение ножен.

— Сестра, вы много лет принимаете людские страхи. Не каждый страх стоит раскапывать до кости.

— Хоб раскапывал землю у ямы.

— Поэтому его и ищут.

— У ямы?

— Там тоже.

Ответ слишком поздно пришёл к точности. Он мог значить всё, что понадобилось бы завтра. Уот умел оставлять слова с открытым краем.

— Когда придет Гервасий, он спросит о сундуке.

— Пусть спрашивает.

— И о том, кто открывал южную дверь.

— Я открывал её сегодня при свете, для уборки и проверки церковных вещей. Осма был со мной. Это легко подтвердить.

— А ночью?

Ткань у окна не двигалась, но за ней стало тише. Где-то за оградой женщина позвала козу, внизу откликнулась собака, и эти бытовые звуки на миг сделали вопрос Алис слишком явным.

— По ночам церковь закрыта, — произнёс Уот.

— Ключ у вас.

— Ключ можно держать и не пользоваться.

— Да.

Он понял, что она не спорит. Спор позволил бы ему завершить разговор распоряжением. Согласие оставило вопрос стоять между ними.

— Вам следует беречь силы, — вымолвил он. — После приезда клерков много людей захотят услышать от вас то, что им выгодно.

— А вы?

— Я хочу, чтобы приход пережил их приезд без новой смуты.

Уот ушёл. Его шаги направились к южной стороне. Железный зацеп прозвучал на плите, затем исчез в траве. Алис осталась у окна, пока сумерки не скрыли нижнюю щель.

Ночью она легла одетой. Лоскут доброго сукна лежал под подушкой, молитвенный лист — у края постели. Она не знала, что именно ждёт: ночного Ансельма у окна, стука у хозяйственной створки от Эдиты, крика Агнес, звука лопат у северной канавы. Вместо этого пришла южная дверь.

Ключ повернули очень осторожно. Железо не скрипнуло, а только коротко вздохнуло в замке. Створка открылась на узкий проход и закрылась сразу за вошедшим. Алис уже стояла у сквинта. Хор был темен, но человек принёс малую свечу, прикрытую ладонью. Свет не показывал лица. Он вырезал из темноты нижний край одежды, сапоги, руку у пояса. Правая нога шла твёрдо. Левая догоняла через малую задержку. У алтарной ступени железо коснулось знакомой плиты.

Алис не позволила себе назвать имя.

Человек подошёл к сундуку. Свечу поставил низко, между ступенью и стеной, так, чтобы свет не ушёл в неф. Крышка поднялась медленнее, чем днём. Пергамент зашуршал. Шнур с печатью тихо ударился о дерево, и в этот раз рука сразу удержала его, словно владелец движения помнил утреннюю ошибку. Из сундука достали тот малый лист, который Уот днём закрывал плечом от Осмы. Человек раскрыл его, держал долго, затем приложил к другому листу. Свеча дрогнула.

Алис вдруг поняла, что задерживает дыхание. Грудь заболела. Она сделала вдох слишком резко, и через сквинт вышел слабый звук.

В хоре всё остановилось.

Человек повернул голову к стене. Лица не было видно, но Алис почувствовала направленность этого взгляда, как чувствуют руку возле закрытых глаз.

— Отец? — прошептала она.

Свечу погасили пальцами.

Темнота стала полной. В ней прошёл звук закрываемого сундука, осторожного замка, шага к южной двери. У порога железо снова задело плиту. Створка открылась, выпустила человека и закрылась почти без звука.

Алис стояла у сквинта, пока колени не начали дрожать. Если это был Ансельм, он входил в церковь своим правом и избегал её по причине, которую пока нельзя назвать. Если это был Уот, он работал в темноте с листами, которые днём уже держал в руках. Если это был кто-то третий, этот третий имел ключ или получил его от человека с ключами.

Окно к людям оставалось тихим. Ночной шёпот не пришёл. Отсутствие его оказалось странным даром: Алис не нужно было сразу выбирать, спрашивать ли Ансельма о человеке в хоре и услышать ли в ответ готовое объяснение.

Она вернулась к постели, достала из-под подушки тёмный лоскут и положила рядом с молитвенным листом. Две вещи лежали отдельно. Между ними оставалось место для вопроса, который уже нельзя было вернуть в прежнюю тьму: кто открывает южную дверь, когда вся деревня спит и церковь, по словам рива, закрыта?

Глава 4. Доброе сукно

Хоба принесли к северной стене на дверной створке, снятой с его собственного сарая. Мужчины шли медленно: тропа между кладбищенской оградой и кельей была узкой, створка цепляла траву, один носильщик всё время оступался, другой бранился себе под нос, и тело под серым полотном съезжало к краю. Агнес шла сбоку. Она держалась за доску обеими руками, хотя мужчины велели ей отойти, и всякий раз, когда створка наклонялась, из её горла выходил короткий сухой звук, похожий не на плач, а на удар.

Алис стояла за занавесью окна к людям. Через нижнюю щель она видела мало: край полотна, босую пятку Хоба, руку, выпавшую вниз, пока носильщики поворачивали у стены. Пальцы у мертвеца согнулись, под ногтями темнела земля. Один мужчина попытался уложить руку на грудь, но створка качнулась, и рука снова опустилась. Агнес рванулась к ней, Осма перехватил женщину за плечо.

— Не трогай, — приказал он. — Рив велел ждать осмотра.

— Он мой муж.

— Был.

От этого слова Агнес перестала вырываться. Она окаменела на месте, и Осме самому пришлось отпустить её, потому что держать такую неподвижность оказалось труднее, чем крик.

Уот стоял у прохода к церковному двору. Сегодня он не подошёл к окну, не поздоровался с Алис, не обратился к женщинам у ограды. Распоряжался оттуда, где тропа расходилась к сараям и к северной канаве, и вся деревня слышала его без лишнего голоса.

— В сарай. Дверь закрыть. До вечера никто, кроме Агнес и Осмы, внутрь не входит.

— Я сама его обмою, — выговорила Агнес.

— При Осме.

— У мёртвого и так мало стыда оставили.

Уот повернул голову. Даже за занавесью Алис почувствовала, как люди возле стены приготавливались к его ответу.

— Стыд живых опаснее, Агнес. Твой муж поднял всю деревню к старой яме.

— Он туда не сам пошёл.

— Это скажешь клеркам, когда они приедут. Сегодня тело надо сохранить от рук и языка.

Носильщики понесли створку дальше. Агнес пошла за ними, и только у самой ограды обернулась к келье. Алис не видела её глаз, но слышала, как женщина втянула воздух, собираясь позвать. Осма подтолкнул её к сараю. Полотно над телом качнулось, рука Хоба исчезла за поворотом.

На тропе осталась грязная шапка. Осма вернулся, поднял её двумя пальцами, вытряхнул землю и сунул за пояс. Движение вышло слишком деловым для вещи, которую жена, может быть, хотела бы положить к телу. Уот заметил это и ничего не произнёс.

Когда люди разошлись, у окна воцарилась пустота. В деревне после найденного тела часто становилось шумно: соседи выпрашивали, женщины бежали к дому, дети повторяли взрослые слова, пока их не били по губам. Сегодня шум держали на поводке. Уот уже привязал к смерти Хоба готовую версию, и Линдвелл, привыкший за годы запрета к чужим версиям, осторожно примерял её на себя.

Миску пропихнули в щель боком, и отвар плеснул через край раньше, чем Алис подставила ладони. На пальцах у Эдиты темнели свежие ссадины.

— Я помогала Агнес у сарая, — выдохнула она. — Осма хотел вытолкнуть её за дверь, а она вцепилась в створку. Меня тоже оттолкнул.

Она сунула руку дальше в отверстие, чтобы стало видно. Ладонь была содрана у основания большого пальца, тем самым краем, которым цепляются за дерево.

Алис взяла миску и есть не стала.

— Тело где нашли?

— У старой ямы. Не в глубине, на краю, где земля осыпалась. Уот говорит: полез после эля, поскользнулся, ударился и задохнулся в глине.

— Кто нашёл?

— Тома с младшим братом. Мать их теперь клянётся, что дети шли по дороге и ничего не видели. На кухне Тома говорил другое. Хоб лежал грудью к яме, головой вниз. В кулаке была глина, светлая, какая лежит глубоко.

Алис поставила миску на доску. Накануне, по словам мельничихи, Хоб сидел у той же ямы и держал палку, как крест. Палку потом забрал Осма.

— Рана?

Эдита замялась. Страшные подробности она любила, пока они оставались рассказом; сейчас голос у неё сделался младше.

— За ухом кровь. Уот показал всем на корень в откосе. Может, и правда ударился. Только Осма про падение говорил ещё до того, как тело подняли. И на корень показал раньше Уота.

— Что с одеждой?

— Рубаха порвана у ворота, штаны в глине. А во рту...

На тропе стукнуло ведро. Эдита придвинула створку, оставив палец в щели. Прошла Матильда, браня кого-то за грязь на дне вёдер, и голос её ушёл к кухне.

— Во рту у него были тёмные волокна. Агнес увидела первой. Осма полез ножом, хотел выскрести, а она вцепилась ему в руку зубами и не разжимала, пока он не заорал. Успела снять с губ мужа нитку. Спрятала в кулаке. Я видела.

Отвар в миске остыл, поверху затянуло плёнкой.

— Уот знает?

— Осма знает, что она что-то взяла. Уот велел искать. Агнес держит руки под покрывалом и никому не показывает. Мэйбл собирается провести её к вам через огород перед вечерней подачей воды.

— Эдита.

— Я не говорила, что сама поведу.

— Ты уже знаешь путь.

Девушка отвернулась от щели.

— Если Агнес не придёт, нитку отберут. Хоба засыпят. Завтра все будут повторять про эль и корень.

— А если ты попадёшься у огорода, Уот узнает, зачем она шла.

— Он и так узнает.

— Позже — иногда значит живой.

Эдита хотела бросить резкое слово, но сдержалась. Это было на неё не похоже и потому испугало сильнее спора.

— Хорошо, — буркнула она. — Я скажу Мэйбл, пусть идёт сама. А я буду на кухне и громко ронять котлы, чтобы Матильда знала, где я.

— Это уже лучше.

— Лучше для вас. Мне ещё чистить всё, что уроню.

Она закрыла ставню. Через несколько мгновений Алис услышала, как Эдита на самом деле задела что-то во дворе; раздался звон посуды, Матильда закричала, и девушка ответила ей с такой обидой, что ложь получилась убедительной.

Алис достала из ларца тёмный лоскут. Положила его на колени, рядом с хлебом, к которому так и не притронулась. Вещь, много лет лежавшая внизу среди чужих просьб, теперь требовала иного взгляда. Она больше не была бедной заменой имени. Она становилась причиной смерти Хоба или тем, к чему смерть пыталась вернуться.

Хоб принёс её в первую зиму. Хоб молчал шесть лет. Хоб пошёл к яме перед приездом клерков. Во рту у него нашли волокна. Между этими событиями ещё оставались пустоты, но пустоты уже не были случайными. Алис провела пальцем по починке. Сукно держалось крепко, шов не распустился, хотя тело, от которого оторвали этот кусок, давно должно было потерять форму в общей земле.

Окно к людям зашуршало ближе к вечеру. На тропе былолюдно: после найденного Хоба никто не хотел проходить возле северной стены в одиночку, но всякий хотел знать, кто туда прошёл. Алис услышала несколько нарочно громких голосов у дороги, затем тихое покашливание у занавеси.

— Сестра.

Агнес говорила низко. Крик у носилок сорвал верхние ноты её голоса, оставив сухую сердцевину.

— Я здесь.

— Мне дали время до заката. Осма стоит у сарая, считает, что я с Мэйбл у колодца. Мэйбл сейчас спорит с Хамо так громко, что вся улица слушает её, а не меня.

Алис села ближе к решётке.

— Ты принесла?

В нижнюю щель вошёл свёрнутый край полотна. Внутри лежало несколько тёмных волокон, слипшихся от слюны и крови. Агнес держала свёрток пальцами, не выпуская, пока Алис не накрыла его ладонью.

— Он держал это во рту, — произнесла вдова. — Может, сам вцепился, когда отнимали. Может, затолкали, чтобы молчал. Не знаю. Только от его рубахи такого не оторвёшь.

Алис развернула лоскут на коленях и подвела нитку к обрезанному краю. Свету из хозяйственной щели хватало на то, чтобы увидеть тёмное на тёмном. Тон вроде тот же. Нить такая же плотная. Тут пальцы у неё пошли быстрее, чем следовало, и она положила обе вещи на колени и убрала руки.

— Что Хоб говорил перед уходом?

Агнес втянула воздух. Ткань занавеси прижалась к дереву: женщина склонила голову.

— Сидел у очага, — начала она, и голос ушёл ниже. — Фляга рядом стояла полная. Тёр ладони. Я спросила, что у него с руками. Он ответил: земля всё равно помнит кожу. Я решила, лихорадка. К ночи заговорил про клерков: приедут, и мёртвые начнут звать тех, кто их носил. Я осерчала. Хлеба на два дня, дочь кашляет, а он про мёртвых. Тогда он выдохнул: «Бродягам церковное сукно не дают». Я запомнила. Дурные слова.

— Он называл Ансельма?

— Начал с «отец». Дальше замолчал. Может, хотел сказать о своём отце. Может, о священнике. Я не успела узнать. Утром его не было.

— Ты помнишь, как он принёс лоскут в первую зиму?

— Помню.

Ответ Агнес пришёл твёрдо.

— Он ударил меня в тот день. Первый раз за брак. Я хотела пустить сукно на детскую заплату, потому что в доме холодно и дети дрожат. Он вырвал из рук и твердил, что это не наше, это надо к святой. Тогда вы ещё были для нас новой, страшной. Я думала: мертвецу всё равно, а детям нет. Хоб плакал после. Не просил прощения, просто плакал, сидя у двери.

За стеной прошли двое. Один голос принадлежал Осме. Агнес умолкла, и Алис спрятала волокна в складку рукава. Мужчины остановились у поворота.

— Видел её? — спросил Осма.

— Мэйбл орёт у колодца, Агнес при ней.

— Если врёт, Уот с неё кожу снимет.

— С Мэйбл?

— С того, кто врёт.

Шаги удалились к дороге. Агнес долго молчала, даже после того как они ушли.

— Я не смогу сказать это при них, — выговорила она. — Уот поставит Осму передо мной, и язык уйдёт.

— Сегодня говоришь у окна.

— Этого мало.

— Да.

Простой ответ был честнее утешения. Агнес приняла его без обиды.

— Тогда храните. Если завтра я стану молчать, эта нитка пусть молчит вместо меня.

— Вещи не говорят без людей.

— У вас говорят.

Алис сжала волокна в рукаве.

— Они напоминают. Это другое.

— Для меня хватит и напоминания.

Агнес ушла так же тихо, как пришла. Через минуту у колодца крик Мэйбл достиг нового края: она обвиняла Хамо в том, что он считает чужие ведра своими только потому, что Уот однажды кивнул в его сторону. Голоса людей поднялись, кто-то засмеялся, Осма выругался. Под этим шумом Агнес вернулась к дому.

Алис закрыла внутреннюю створку и пошла к ларцу. На доске рядом лежал старый лоскут. Она развернула свёрток Агнес, положила волокна у края починки. Теперь сходство было заметнее. Нить из рта Хоба могла принадлежать тому же сукну или близкой ткани; уверенности не было, зато появилась связь, которую уже невозможно отвести как стариковскую болтовню.

Снаружи Уот подошёл к окну без стука.

— Агнес здесь?

Алис не успела убрать лоскут, но он лежал ниже подоконника, невидимый за стеной.

— Она просила молитвы за мужа.

— Тело ещё не предано земле. Молитву получит вечером.

— Жена имеет право просить раньше.

— Жена имеет право плакать. Право обвинять она получит, когда сможет говорить без горячки.

Он стоял ближе обычного. Голос оставался дневным, сухим, приученным к свидетелям, но у тропы никого не было. Даже Осма задержался у колодца.

— Что она принесла?

— Имя Хоба.

— Имя я знаю.

— Тогда зачем спрашиваете?

Пауза была короткой.

— Потому что Хоб рылся в земле, где лежат многие. Если каждый начнёт вытаскивать из ямы тряпки и кости, клерки найдут приход в безумии.

— Вы боитесь безумия клерков?

— Я боюсь живых, которые после клерков останутся здесь.

— Хоб тоже остался бы.

— Хоб сам полез к месту, где ему велели не ходить.

— Кто велел?

— Я.

В этом признании не было слабости. Уот охотно признавал распоряжение, если распоряжение выглядело разумным.

— Почему?

— Старая яма осыпается. Дети лезут смотреть. Собаки роют. Перед приездом церковных людей надо убрать срам, который мы вынуждены были терпеть из-за чужой войны короля с папой.

— Срам или следы?

Уот ударил посохом по плите. Не сильно. Достаточно, чтобы звук вышел коротким.

— Следы чего, сестра?

Алис коснулась пальцами лоскута, лежавшего на доске.

— Того, что люди боятся назвать.

— Люди боятся многого. Дайте им святую у стены, и они принесут ей страх вместо истины.

— Иногда страх помнит дольше истины.

— Тогда молитесь за страх. А найденные вещи передайте мне, если Агнес оставила их у вас.

Теперь он произнёс прямую просьбу. Алис почувствовала, как маленькие волокна в рукаве стали тяжёлыми.

— Я передам церковным людям то, что касается мёртвых.

— До их приезда за порядок отвечаю я.

— За мёртвых тоже?

— Пока они смущают живых — да.

Он ушёл. На плите прозвучал железный зацеп; через несколько шагов к нему присоединился Осма. Они заговорили, но слов уже было не разобрать.

Вечером Хоба понесли к северной канаве. Уот добился своего: тело не оставили до клерков. Объяснение было разумным — жара, сарай, мухи, страх детей, порядок. Разумные объяснения часто приходили у него раньше человеческой жалости.

Носилки прошли вдоль стены. Агнес шла за ними, но ближе к телу её не подпускали. Тибб оказался у ограды и, забыв собственную недавнюю злость, снял шапку перед Хобом. Олдред попытался читать псалом, сбился на середине строки и продолжил шевелить губами без звука. Эдита стояла у кухонной тропы; Матильда держала её за плечо, но не грубо.

Алис сидела у окна к людям. Перед ней на доске лежали старый лоскут и волокна из свёртка Агнес. Она не показывала их наружу. Слова вдовы оставались тайной окна; вещь пока принадлежала молитве и памяти, не суду. Когда носилки остановились у края канавы, Алис произнесла имя Хоба вслух. Агнес услышала и закрыла лицо руками.

Земля падала глухо. Мужчины спешили, потому что Уот велел закончить до темноты. Алис читала молитву медленно, упрямо, не подстраиваясь под лопаты. После Хоба она назвала безымянного первой зимы. Голос у неё дрогнул. Она не знала, как произнести имя человека, если имени у неё ещё не было, поэтому положила палец на шов тёмного сукна и читала дальше.

Когда могилу закрыли, люди разошлись быстро. Агнес увели домой. Эдиту Матильда погнала к кухне. Осма остался у ямы и проверил, утоптана ли земля. Уот задержался у ограды, глядя не на свежую могилу Хоба, а на келью.

Алис не отступила от окна.

В темноте, когда у северной канавы уже никого не осталось, она свернула волокна в малую тряпицу и положила рядом с лоскутом на дно ларца. Сверху лег молитвенный лист Ансельма. Кошка подошла, понюхала закрытую крышку и тихо фыркнула.

Алис села на пол, чувствуя под досками приготовленную для неё яму. Вечерняя молитва за Хоба была прочитана. За безымянного — тоже. Но теперь между этими двумя молитвами лежала нить, и она тянулась туда, куда Уот велел никому не ходить.

Глава 5. Земля Мэйбл

К окну к людям принесли землю. Сначала Алис услышала, как кто-то остановился у стены и долго переводил дыхание. Посетитель не стучал и не звал — стоял за занавесью, слишком близко к решётке, и в этом молчании просьбы было больше, чем в обычном плаче. Затем в нижнюю щель осторожно просунули пласт дёрна, вырезанный вместе с корнями. Земля осыпалась на внутренний выступ; тонкий корешок зацепился за железо, и Алис увидела пальцы Мэйбл, сжавшие край так крепко, что ногти побелели.

— Возьмите, сестра, — выговорила Мэйбл. — Пока он ещё мой хоть здесь.

Алис наклонилась и приняла дёрн двумя руками. Почва была сухая, тёмная у корней, с мелкими жёлтыми травинками по краю; пахло полем после серпа. Кошка подошла, понюхала добычу, недовольно тряхнула ухом и отошла к ларцу. Земля из чужого поля в келье выглядела неподобающей вещью. За эти годы сюда приносили и постранные.

— Откуда вырезала?

— У старого пня. Там, где яшень стоял, пока Хамо не велел выкорчевать остаток. Верхняя полоса, сестра. Робова. Моего первого мужа. Теперь Уот говорит, что она Хамова, потому что Хамо живёт в моём доме и держит мой плуг.

Мэйбл опустила на колени. Через щель Алис видела подол её платья, запачканный у нижнего края, и босую ступню с треснувшей пяткой. Женщина пришла не дорогой: прошла огородами, по межам, чтобы у калиток её не заметили сразу. В голосе не было привычной вдовьей жалобы. Мэйбл принесла к окну землю, и отступить ей теперь было некуда.

— Хамо знает, что ты здесь?

— Он думает, я полю овёс. Если вернётся раньше меня, будет бить у двери, чтобы соседи слышали, за что. При людях он сильный. В доме сильнее.

Алис поставила дёрн на доску возле чаши.

— Ты пришла за молитвой?

— Сначала думала — да. Пока шла, поняла: молитвой я уже шесть лет держусь. Земля от молитвы обратно не ползёт.

За стеной послышался возчик, бранивший лошадь у нижней дороги. Колесо ударило о камень, телега заскрипела и потянулась дальше. Мэйбл дождалась, пока шум удалится, затем заговорила быстрее:

— Роб держал эту полосу от отца. У старого стюарда была его половина палочки, у Роба — своя. Зарубки сходились. Ансельм видел, когда Роб приносил клятву у дверей церкви. Потом Роб умер во второй год запрета. Сын мой, Уилл, был уже на валлийской стороне, у моего брата, гонял скот и копил на волов. Уот сказал: наследник пропал, земля пустовать не может, женщина одна не вытянет повинность. Через месяц Хамо вошёл в дом.

— Ты дала согласие?

Мэйбл коротко рассмеялась. Смех обломился у неё в горле.

— У дверей манориального зала стояли двое. Хамо держал меня за запястье. Уот спросил, беру ли я его мужем. В доме оставался мешок зерна, зима была в самом злом месте, Уилла рядом не было. Я ответила, что беру.

— Ансельм знал?

— Ансельм уже исчез.

Мэйбл произнесла это без колебания, но рука её прошла по занавеси, словно она искала в ткани старую дверь, за которой можно было бы поправить сказанное.

— До исчезновения я ходила к нему. Южную дверь ещё открывали для больных. Я сказала: Робова земля должна ждать Уилла. Ансельм велел сохранить палочку и не давать Хамо

входить в дом как хозяину, пока церковный суд не вернётся. Уот стоял во дворе. Они спорили у двери, когда я уходила.

— О чём спорили?

— О праве лорда. О старых знаках. Ансельм сказал, что память прихода нельзя переписать из-за закрытой церкви. Уот ответил, что память не пашет и детей не кормит.

Алис удержала руки на коленях. Фраза была слишком похожа на самого Уота: сухая, хозяйственная. Так говорит человек, уже решивший, кому принадлежит чужая борозда.

— Кто ещё слышал?

— Люди проходили. Один держатель стоял у стены, я его не разглядела, плащ был поднят к лицу от ветра. Может, из верхних дворов. Может, из людей лорда. Я тогда о своём думала, сестра, не о чужих свидетелях.

Алис не стала расспрашивать дальше. Кто стоял тогда у церковной двери с поднятым плащом, гадать было рано. Перед окном сидела живая Мэйбл, и дёрн подсыхал у чаши.

— Палочка Роба у тебя?

— Была. Уот забрал в ту же зиму. Пришёл с Осмой, сказал, что все долговые и земельные знаки надо держать вместе до возвращения суда. Я держала палочку в руке. Он не вырывал. Просто ждал. Хамо стоял за спиной. Я отдала сама.

— Куда он её унёс?

— В церковь. Я пошла следом до кладбищенской стены. Видела, как он открыл южную дверь. Дальше Хамо догнал меня и повалил у канавы. На следующий день Уот объявил во дворе, что половина Роба потеряна, а без пары палочка ничего не стоит.

Алис повернула голову к сквintу. Сундук в хоре стоял за стеной, запёртый и невидимый. Днём Уот открывал его при Осме; ночью кто-то входил туда со свечой. К лоскуту Хоба и к безымянному первой зимы теперь прибавилась Мэйблева палочка. Всё тянулось к одному месту, где дерево и пергамент — и сама людская память — были в воле той руки, что держит ключ.

На дне ларца лежал чей-то обломок счётной палочки, принесённый когда-то под видом молитвенной памяти. Алис не стала говорить о нём Мэйбл.

— Уилл жив? — спросила она.

Мэйбл подалась ближе к окну.

— Жив. Прошлой осенью погонщик видел его возле Освестри. Назвал шрам над бровью. Уилл получил его от быка, когда ему было двенадцать. Погонщик знал это от него самого. Передал мне тайком: сын не идёт домой, потому что ему сказали, в Линдвелле ждёт обвинение в краже господского скота.

— Кто сказал?

— Он не знал. Человек у дороги. Без имени. С господским знаком на плаще. Уилл, дурной мальчишка, поверил. Он быстрый на гнев, но тюрьмы боится сильнее, чем стыда.

— Ты сказала Уоту, что Уилл жив?

— Сказала. Он ответил: пусть явится и предстанет перед судом за кражу. Живой наследник удобен ему только с петлёй на шее.

Мэйбл вытерла нос краем покрывала. Жалости в этом не было — только усталость женщины, которая годами доказывает, что сын её жив, тем, кому живой сын мешает.

— Чего ты хочешь от меня сейчас?

Она задержала дыхание.

— Скажите, я жена Хамо перед Богом?

Вопрос был тише прежних слов. Землю и межи она несла к окну как тяжбу. Этот пришёл из постели — из ночей, где рядом дышит человек, занявший место умершего по чужому праву.

— Я не священник, Мэйбл.

— Вы ближе к алтарю, чем все мы.

— Сквинт ближе. Не я.

— Не уходите от ответа.

Алис провела пальцем по краю дёрна. Корешок держался за землю, хотя его уже вырезали из поля.

— Ансельм учил: согласие должно выйти из самой женщины и самого мужчины. Страх умеет произносить нужные слова чужим голосом. Церковный суд должен это слышать.

— Суд будет через три дня?

— Приедут люди архидьякона.

— Они уедут. Хамо останется.

— Тогда тебе надо говорить при них так, чтобы уехать с ними могла запись.

Мэйбл молчала. Алис услышала, как она сжала ткань занавеси.

— Запись не держит дверь, когда муж приходит ночью.

— Иногда запись открывает другую дверь.

— Вы верите в это?

Ларец стоял закрытый, у самой стены. Лоскут лежал в нём шесть лет, и за шесть лет о нём спросила одна Алис.

— Не знаю, — сказала она. — Знаю только, что без твоего слова тебя уже записали за Хамо. Со словом им придётся хотя бы врать громче.

— Громче они умеют.

Мэйбл выговорила это ровно, без злобы, и переставила колено, устраиваясь на земле поудобнее.

— Что мне говорить?

— Имя Роба. Землю у старого пня. Что Уилл жив.

— Про палочку?

— Про палочку в первую очередь. Что Уот унёс её в церковь при тебе.

— Спросят, кто видел.

— Скажешь: шла следом до кладбищенской стены. Дальше Хамо тебя догнал.

Мэйбл повторила про себя, шевеля губами. Вышло у неё в другом порядке.

— И про то, как тебя выдавали, — прибавила Алис. — Что Хамо держал тебя за руку, когда ты отвечала.

— Этого они не запишут.

— Пусть не запишут. Скажи вслух. Остальное придёт само, если хватит воздуха.

— А если не хватит?

— Тогда принеси дёрн. Пусть земля лежит при тебе.

Мэйбл опустила ладонь на доску снаружи. Пальцы у неё были в старых трещинах от мотыги. До дёрна оставалось с пядь. Земля подсыхала и сыпалась.

— Забери, — сказала Алис. — Спрячь у пня. Если дёрн найдут у меня, Уот поймёт, кто приходил.

— Пусть поймёт.

— Тебя ударят раньше, чем приедет Гервасий.

— Меня и так бьют.

— Тогда пусть хотя бы бьют за дело, которое ты сама выбрала при людях.

Мэйбл долго не двигалась. Затем приняла дёрн обратно через нижнюю щель. Земля крошилась; несколько крупинки остались на доске в келье. Алис собрала их пальцем и положила на край ларя. Не молитвенная вещь. Только след.

За оградой кто-то окликнул Мэйбл по имени. Она вздрогнула.

— Хамо?

— Мальчишка с верхнего двора. Но скоро будет и Хамо.

— Иди через огороды.

— Я пришла не только за землёй, сестра.

Алис ждала.

— Если клерки спросят, почему я молчала шесть лет, что отвечать?

Вопрос ударил сильнее, чем рассказ о Хамо. Молчание Мэйбл, как и молчание Хоба, было частью преступления и частью выживания. У тех, кто судит с дороги, такие вещи получаются простыми: видел — скажи, боишься — всё равно свидетельствуй. Линдвелл жил иначе. Здесь одна зима могла съесть у человека право говорить на годы.

— Ответишь: хотела дожидаться суда и боялась не дожить до него.

— Это звучит трусливо.

— Это звучит живо.

Мэйбл ушла. Шаги её ушли вдоль кладбищенской ограды, в обход дороги, через старые могилы и крапиву у стены. Через малое время в деревне поднялся мужской голос — Хамо, вероятно, звал жену от верхнего поля. Мэйбл не ответила. Голос покатался по деревне и стих.

Эдита появилась у хозяйственной створки после полудня. Она принесла воду и хлеб, но сразу было видно, что пришла не из-за еды: корзину сунула слишком быстро, наружную щель прикрыла без стука, а руку держала внутри дольше нужного.

— Мэйбл была?

— Ты видела её?

— Я видела Хамо у верхнего поля. Он искал жену и ругался так, что даже гуси уходили с дороги. Мэйбл вернулась с дёрном под передником. Значит, была.

— Ты слишком хорошо видишь.

— Это мой главный грех.

— Главный у тебя впереди, если будешь так продолжать.

Эдита хотела ответить, но передумала. После Хоба она иногда вспоминала осторожность.

— Уот спрашивал Матильду, подходила ли Мэйбл к вашему окну. Матильда сказала, что у окна были только я и мальчик с солью. Мальчика она выдумала. Я спросила, зачем. Она ответила, чтобы Уоту было кого презирать без труда.

— Матильда сказала это?

— Нет, это уже я поняла. Она сказала: мальчиков с солью никто не считает.

Алис взяла хлеб. Руки у Эдиты были в муке и саже; зелёная нитка потемнела, но узел держался.

— Не ходи к Мэйбл.

— Я и не собиралась.

— Эдита.

— Правда. Сегодня не собиралась. Завтра я ещё не знаю.

— С сегодняшнего дня думай и за завтра.

Девушка вздохнула так, как вздыхают молодые перед чужой мудростью.

— Вы все хотите, чтобы я думала за старуху, а бегала за девку.

— Если выживешь, в Шрусбери будешь сама решать, как тебе бегать.

Эдита замерла.

— Кто вам сказал про Шрусбери?

— Ты говоришь о нём, когда молчишь.

Неправды тут было немного. Алис замечала: всякую весть с дороги к городу девушка слушала стоя; монеты, какие заводились, пересчитывала подолгу; у погонщиков выспрашивала про пивоварни и кухни. Эдита хотела мира шире, чем Линдвелл, и прятала это желание так плохо, что оно торчало из каждого её узла на запястье.

— Тётка возьмёт меня после открытия церкви, — прошептала Эдита. — Если Уот отдаст жалованье.

— Он держит твоё серебро?

— Говорит, служанка без хозяина серебро теряет быстрее девичьей чести. Я коплю в другом месте.

— Где?

— Если скажу святой, Господь начнёт считать вместе с Матильдой.

Алис не стала давить. У человека должно оставаться место, о котором не знает даже святое окно.

— Доживи до открытия.

— Вы сегодня второй раз велите мне дожить. Это плохой день для таких слов.

Она ушла, оставив воду и хлеб. Алис слышала, как у кухни Матильда спросила, отчего Эдита задержалась. Девушка ответила, что сестра молилась длительно. Матильда буркнула: значит, хоть кто-то в Линдвелле делает свою работу.

К вечеру пришёл Уот.

Он не стучал. Дневной рив имел привычку появляться у окна так, словно всякая стена была частью его двора.

— Мэйбл была у вас.

Алис поднялась от ларя. Дёрна в келье уже не было, но на доске оставались несколько крупинок. Она закрыла их ладонью; крупинки кололи кожу, мелкие, как просо.

— Многие приходят.

— Мэйбл принесла землю.

— Если вы знаете, зачем спрашиваете?

— Хочу услышать, что вы сделаете с её словами.

— Помолюсь.

— Слова о земле редко остаются молитвой. Они ищут уши клерка.

Уот стоял ближе обычного. За его спиной не было Осмы; это делало разговор тише и опаснее.

— У Роба был сын, — произнесла Алис.

— У Роба был мальчик, ушедший за границу приходской памяти.

— Его видели осенью.

— Погонщики видят всё, за что платят.

— Шрам над бровью трудно купить заранее.

Уот провёл посохом по земле у плиты. Звук был негромким, но в нём появилась досада.

— Если Уилл жив, пусть явится и ответит за скот лорда. Невинному дорога открыта.

— Дорога к обвинению редко выглядит открытой для того, кого ждут с верёвкой.

— Вы уже говорите словами Мэйбл.

— Или Мэйбл наконец говорит своими.

Пауза стала слишком длинной для приличия. Где-то у нижней дороги ребёнок засмеялся, собака ответила лаем, и этот обычный деревенский шум спас разговор от полной оголённости.

— Сестра Алис, — Уот снова вернул голос к сухой вежливости, — вы сидите у стены ради молитвы. Когда люди несут к вам землю, палочки, старые супружеские обиды, они превращают келью в двор тяжб. Для вашей души это вредно.

— Для чьей земли полезно?

— Для прихода полезно, чтобы каждый не тащил старую борозду к церковным людям в день возвращения службы.

— Возвращение службы не стирает того, что сделано до неё.

— Иногда стирает. Люди зовут это милостью.

Он говорил спокойно. И в этой спокойной речи Алис услышала будущую защиту Уота перед клерками: милость, порядок, хлеб; вдовы, которых надо было пристроить; сыновья, пропавшие за границей; бумаги, которые после долгой смуты лучше не тревожить.

— Если Гервасий спросит о Мэйбл, — произнесла она, — я не буду пересказывать её слова.

— Разумно.

— Она сама скажет.

Уот наклонил голову. За занавесью она не видела его лица, но знала жест по движению воздуха и короткому звуку ремня.

— Сама? При Хамо? При людях лорда? При старших, которые подтвердят долг Роба?

— Вы боитесь её голоса.

— Я знаю цену её голосу.

— Какую цену?

— Один двор, одна полоса, один муж, один наследник, если он жив. И десяток соседей, которые завтра вспомнят, что у них тоже что-то отняли. Клерки уедут. Спор останется. Поле весной не ждёт, пока женщина докажет, какой муж настоящий.

Алис молчала.

— Вы говорите как человек, который уже решил, что прошлое мешает.

— Проще кормят живые. В Линдвелле живых мало. Передайте Мэйбл: захочет говорить с Гервасием, пусть сперва явится ко мне. Я помогу ей привести слова в порядок.

— Она уже много лет живёт в вашем порядке.

Он этого будто не услышал. За оградой кто-то тащил волокушу, окликнули Хоба и осеклись; Уот повернул голову на звук, постоял и пошёл к южной двери. Зацеп прозвучал на плите дважды, потом дерево, потом ничего.

Земля осталась на ладони. Алис посидела с ней, разглядывая, как это делают, когда мысли ушли в сторону. Вспомнила, что не доела с утра. Потом ссыпала землю в льняной обрывок, завязала и положила в ларец, где та стала неотличима от сора. Этот узел лёг в ларец рядом с тёмным лоскутом и волокнами Хоба. Не доказательство. Память о том, что земля тоже пришла к окну. Уже темнело, когда Алис заметила красную нить в свёртке Перкинова крестика. Мельничиха обвязала оловянный знак куском выцветшей ленты, чтобы не потерять его по дороге. Крестик она забрала, а обрывок ленты остался в келье, зацепившись за трещину на доске. Алис взяла его, провела ногтем, вытянула одну тонкую красноватую нитку и положила поверх тёмного лоскута. Нитка была тоньше той, что носила на запястье Эдита, и цвет держала хуже.

Ночной Ансельм наверняка спросит о Хобе. Уот уже спрашивал. Священнику цвет ткани безразличен: услышит ошибку — поправит, и только. А тот, кто знает, какая ткань была во рту мёртвого, на красном споткнётся.

Алис сидела с красной ниткой в руке, пока в деревне закрывали ставни. Мэйбл, наверное, уже вернулась к Хамо, а дёрн спрятала у старого пня. Агнес сидела у тела Хоба — пока не отогнали. Эдита где-то между золой и сном считала свои тайные монеты. У Уота, возможно, в руке был ключ от южной двери. Кошка перебралась к Алис на колени и легла тяжёлым тёплым боком на её запястье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.